

Мас. № 1039₂

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЗАМѢТКИ

НИГИЛИЗМЪ.

А. Чеховъ. „Разказъ неизвѣстнаго человѣка.“ *Русская Мысль*, марта.

I.

Въ мартовской книжкѣ *Русской Мысли* появилось окончаніе повѣсти г. Чехова, о которой я уже нѣсколько разъ говорилъ. Я тогда замѣтилъ что, судя по началу повѣсти, о г. Чеховѣ можно сказать что онъ „высоко летаетъ—гдѣ-то сидитъ“, и прибавилъ что сидитъ онъ, вѣроятно, не на то мѣсто гдѣ слѣдуетъ. Такъ оно и случилось.

Трудно представить большую неясность изображенія чѣмъ ту какую мы находимъ въ повѣсти г. Чехова. Очевидно, для него самого все дѣло представляется въ очень смутныхъ очертаніяхъ, и потому онъ все свое вниманіе устремляетъ на подробности, оставляя сущность въ сторонѣ. Эта сущность заключается въ *нигилизмѣ*, который авторъ хотѣлъ изобразить во всѣхъ его проявленіяхъ, принципіальныхъ и житейскихъ. Тема, безъ сомнѣнія, заслуживающая полнаго вниманія, но въ то же время тема требующая, болѣе чѣмъ всякая другая, совершенной ясности изображенія. Весь вопросъ для художника

заключается тутъ въ анализѣ того страннаго душевнаго состоянія которое обозначаютъ словомъ *нигилизмъ*.

Оговорюсь, чтобы не было недоразумѣній.

Теперь весьма неразборчиво употребляютъ это выраженіе: *психологическій анализъ*; теперь всякій бездарный беллетристъ, на многихъ страницахъ предающийся пустословію о чувствахъ, намѣреніяхъ и мотивахъ поступковъ своихъ героевъ, совершенно увѣренъ что онъ даетъ психологическій анализъ. Между тѣмъ, это всего только какое-то психологическое пустословіе,—пустословіе на психологическія темы, болѣею частію пересказъ ненужныхъ подробностей, смысла которыхъ совершенно не понялъ самъ авторъ. Психологическій анализъ—дѣло очень трудное и сложное. Чтобы не пустословить на психологическія темы, а дѣйствительно изображать сложные и часто таинственные движенія души человѣческой (а въ этомъ-то и состоитъ то что принято называть психологическимъ анализомъ), нужно понимать метафизическую сущность этой души вообще и свою собственную душу въ частности. А чтобы знать свою душу, нужно подняться на ту высоту объективнаго созерцанія, достигаемую лишь подавленіемъ своего эгоистическаго я, когда человѣкъ справедливо судитъ само себя, справедливо судитъ всѣ самыя потаенныя движенія своей души, всѣ самыя потаенныя свои помыслы. Сказано: „вынь прежде бревно изъ своего глаза, и тогда увидишь какъ вынуть сучекъ изъ глаза брата твоего“,—и не только увидишь какъ, но и увидишь откуда взялся этотъ сучекъ.

Очисти прежде свою душу, и тогда увидишь как и почему загрязнилась душа твоего ближнего, поймешь и почувствуешь его страдание, увидишь истинный источник его, поймешь смысл душевной борьбы его.

Все замечательные художники так и смотрели на свое дело — смотрели на него как на нравственный подвиг. Чтобы не ходить далеко за примерами, напомним недавний. Граф Л. Толстой говорит не о наслаждении творчеством, а о страдании творчества, о том тернистом пути самоочищения, не пройдя которого писатель никогда не может быть творцом.

Психологический анализ современных беллетристов есть результат грубого и бессмысленного подражания, и вот почему этот их «анализ» является всего только бессмысленным пустословием. Они подражают Толстому, Достоевскому, не понимая смысла образов созданных этими художниками, не понимая смысла их творческих приемов, а усвоив себе только *внешнее*, и, как все подражатели, даже в этом внешнем они схватывают большую часть лишь то что является недостатком у их образов.

Толстой, описывая возвращение Анны Карениной из Москвы, где в ее душу заронилась искра преступного чувства ко Вронскому, говорит что Анна, увидев на вокзале встречавшего ее мужа, заметила что у него *торчат уши*, чего прежде не замечала. Одним этим штрихом Толстой отбрасывает весь сложный процесс совершившийся в душе Анны во время ее

поездки в одномъ поезде съ Вронскимъ изъ Москвы въ Петербургъ.

Подражатели же Толстого, не понимая смысла его приема, берут только внешность, думая что все дело в том чтобы заметить и описать как можно больше ненужных и случайных мелочей и, поступая так, простодушно воображают будто делают то самое что делает Толстой.

У Толстого, во время объяснения Анны с мужем послѣ роковыхъ скачекъ, когда Анна слишкомъ ясно обнаруживает свое чувство къ Вронскому, Каренинъ, вместо: «сколько я перестрадал», говорит: «сколько я *нелестрадалъ*». Нельзя было лучше и трогательнее выразить состояние души Каренина, души слабой и малодушной, обезсиленной и измученной, как выразил это Толстой этою ошибкой въ словѣ, — а подражатели его думают что весь фокусъ в томъ чтобы замѣчать когда и какъ люди ошибаются въ словахъ, и пользоваться этими наблюдениями ради придания большаго «реализма» своимъ произведеніямъ. Но въдѣ Толстой руководствовался здѣсь не наблюдениемъ, а своимъ внутреннимъ чувствомъ, своимъ «проникновениемъ» въ то состояние души которое изображалъ.

Толстой любитъ часто изображать то состояние, когда въ душѣ, какъ бы въ одно время, возникаютъ совершенно противоположныя чувства и мысли; его подражатели, злоупотребляя этимъ наблюдениемъ Толстого, прямо уже *заставляютъ* своихъ героев имѣть постоянно противоположныя чувства и мысли, наивно думая что въ этомъ-то и заключается самая тонкая «психоло-

гій". Но "психологій" никакой не выходитъ, а выходитъ просто какой-то бессмысленный наборъ словъ.

И у Толстого, и у Достоевскаго есть одинъ очень большой недостатокъ. Ихъ анализъ всегда по существу вѣренъ, но часто очень запутанъ и затемненъ ненужными примѣсами. Это потому что и Толстой, и Достоевскій описываютъ состояніе души, а не показываютъ его въ самомъ дѣйстви, въ самомъ изображеніи, какъ дѣлаютъ то, напримѣръ, Пушкинъ и Шекспиръ.

Подражатели тотчасъ усвоили себѣ этотъ недостатокъ болѣе нежели что-либо и уже на цѣлыхъ страницахъ предаются пустопорожней болтовнѣ, думая будто описываютъ состояніе души своихъ героевъ.

II.

Такъ поступаютъ бездарные современные беллетристы. Я не причисляю къ нимъ г. Чехова. Напротивъ, онъ очень даровитъ. Но неясность мысли, недостатокъ вдумчивости, дѣлаютъ то что и онъ часто впадаетъ въ тѣ же погрѣшности. Особенно случается это съ нимъ когда онъ берется за темы трудныя и сложныя, смыслъ которыхъ понимаетъ смутно, лишь въ общихъ очертаніяхъ. Тутъ талантъ почти покидаетъ его. Въ такихъ его произведеніяхъ какъ *Палата № 13*, или *Разказъ неизвѣстнаго челоѣка*, нельзя узнать г. Чехова, автора *Стет* и небольшихъ, часто прекрасныхъ, разказовъ. Въ такихъ его произведеніяхъ какъ *Стет*, гдѣ создано прелестное лицо отца Христофора, все ясно, просто, передъ чи-

тателями дѣйствительно развѣрывается какъ бы "сама жизнь", очищенная ото всего случайнаго и ненужнаго, и напротивъ, въ такихъ его произведеніяхъ какъ *Палата № 13* и *Разказъ неизвѣстнаго челоѣка*, все манерно, неясно, и смыслъ жизни затемненъ ненужнымъ и случайнымъ. Въ этихъ его произведеніяхъ приходится разбираться съ трудомъ, отыскивая вѣрные намеки, стараясь развить и объяснить ихъ.

Читатели, помня что герой г. Чехова, "неизвѣстный челоѣкъ" отъ имени котораго ведется разказъ,—анархистъ. Онъ, запасшись фальшивымъ паспортомъ, поступаетъ въ лакеи къ вѣкому Орлову. Отецъ этого Орлова—извѣстный государственный челоѣкъ,—помѣнію поступившаго въ лакеи анархиста, самый опасный и страшный врагъ его партіи и его дѣла. Ради этого-то государственнаго челоѣка онъ и поступилъ въ лакеи къ его сыну, чтобы слѣдить за дѣятельностію старика Орлова. Вскорѣ, однако, онъ убѣждается что это ему не удастся, такъ какъ оказывается что отецъ съ сыномъ почти не имѣютъ сношеній. О прошломъ "неизвѣстнаго челоѣка" мы узнаемъ только что онъ былъ лейтенантъ морской службы, совершилъ кругосвѣтное плаваніе, а потомъ много перенесъ и имѣлъ много приключеній въ качествѣ анархиста. Въ окончаніи разказа выясняется и окончательная его цѣль. Онъ поступилъ въ лакеи чтобъ убить старика Орлова, если къ тому представится случай. Но какъ разъ въ это время, въ бытность его лакеемъ, въ немъ начинается душевный переворотъ, котораго сперва онъ даже самъ не замѣчаетъ.

Г. е.
Чехов
всѣхъ
зрѣ
пр-н

не
извѣстнаго
челоѣка

Из-за фантастической грезы, созданной его душой, и которая привела его к анархизму, начинать выступать для него действительная жизнь, „со всеми ее вѣками, безконечностью, съ миллионами людей въ прошломъ и настоящемъ“. Уголокъ этой действительной жизни, смыслъ которой нужно понять и объяснить, къ которой надо отнестись такъ или иначе, онъ находитъ и въ томъ домѣ куда поступилъ лакеемъ. Наконецъ, эта действительность захватываетъ его самого, ставитъ его въ положеніе действующаго лица въ ней. Онъ влюбляется въ любовницу молодого Орлова, Зинаиду Федоровну. Но онъ все еще остается анархистомъ, все еще остается при своихъ идеяхъ, и лишь внутренно, невѣдомо для него самого, въ самой глубинѣ души его, эти идеи колеблются и не имѣютъ болѣе силы. Случай,—случай, котораго онъ не ожидалъ и не могъ ожидать,—открылъ ему глаза. Случай отдалъ въ его власть страшнаго его врага—старика Орлова. Здѣсь кульминаціонный пунктъ повѣсти, и вотъ какъ г. Чеховъ рассказываетъ этотъ случай.

„На порогѣ стоялъ старикъ лѣтъ шестидесяти, въ длинной до земли шубѣ и въ бобровой шапкѣ.

— Дома Георгій Ивановичъ? спросилъ онъ.

„Сначала я подумалъ что это одинъ изъ ростовщиковъ, кредиторовъ Грузина, которые иногда хаживали къ Орлову за мелкими получками, но когда онъ вошелъ въ переднюю и распахнулъ шубу, я увидалъ густыя брови и характерно сжатые губы, которыя я такъ хорошо изучилъ по фотопортретамъ, и

два ряда звѣздъ на форменномъ фракѣ. Я узналъ его: это былъ отецъ Орлова, извѣстный государственный человѣкъ.

„Я отвѣтилъ ему что Георгій Ивановича нѣтъ дома. Старикъ крѣпко сжалъ губы и въ раздумьи поглядѣлъ въ сторону, показывая мнѣ свой сухой, беззубый профиль.

— Я оставлю ему записку, рѣшилъ онъ.—Проводи меня.

„Онъ оставилъ въ передней калоши и, не снимая своей длинной, тяжелой шубы, пошелъ въ кабинетъ. Тутъ онъ сѣлъ въ кресло передъ письменнымъ столомъ и, прежде чѣмъ взяться за перо, минуты три думалъ о чемъ-то, заслонивъ глаза рукою, какъ отъ солнца,—точь-въ-точь, какъ это дѣлалъ его сынъ, когда бывалъ не въ духѣ. Лицо у него было грустное, задумчивое, съ выраженіемъ той покорности, какую мнѣ приходилось видѣть на лицахъ только у людей старыхъ и религиозныхъ. Я стоялъ позади, глядѣлъ на его лысину и на ямку къ затылку, и для меня было ясно какъ день что этотъ слабый, больной старикъ теперь въ моихъ рукахъ. Въдѣ во всей квартирѣ, кромѣ меня и моего врага, не было ни души. Стоило бы мнѣ только употребить немножко физической силы, потомъ сорвать часы чтобы замаскировать дѣлъ, уйти чернымъ ходомъ, и я получилъ бы неизмѣрно больше чѣмъ могъ разчитывать когда поступалъ въ лакеи. Я думалъ: едва ли когда представится мнѣ болѣе счастливый случай. Но, вмѣсто того чтобы дѣйствовать, я совершенно равнодушно поглядывалъ то на лысину, то на ямку, то на нѣтъ, и покойно размышлялъ объ отношеніяхъ этого человѣка къ своему единственному сыну

МВ 1893 25 марта

Кемеров.

26.

Реш

и о томъ что людямъ, избалованнымъ богатствомъ и властью, вѣроятно, не хочется умирать...

— Ты давно служишь у моего сына? спросилъ онъ, выводя на бумагу крупныя буквы.

— Третій мѣсяцъ, ваше высокопревосходительство.

Онъ кончилъ писать и всталъ. У меня еще оставалось время. Я торопелъ себя и сжималъ кулаки, стараясь выдавить изъ своей души хоть каплю прежней ненависти; я вспоминалъ какимъ страстнымъ, упрямымъ и неутомимымъ врагомъ я былъ еще такъ недавно... Но трудно зажечь спичку о рыхлый камень. Старое, грустное лицо и холодный блескъ звѣздъ вызывали во мнѣ только мелкія, дешевыя и ненужныя мысли о бренности всего земнаго, о скорой смерти...

— Прощай, братецъ! сказалъ старикъ, надѣвъ шапку и вышелъ.

Итакъ, нельзя уже было сомнѣваться: во мнѣ произошла какая-то перемѣна, и я сталъ другимъ человекомъ. Чтобы провѣрить себя, я началъ было вспоминать свое прошлое, но тотчасъ же мнѣ стало жутко, какъ будто я нечаянно заглянулъ въ темный уголъ. Вспомнилъ я своихъ товарищей и знакомыхъ, и первая мысль моя была о томъ какъ я покраснѣю и растеряюсь, когда встрѣчу кого-нибудь изъ нихъ. Кто же я теперь такой? О чемъ мнѣ думать и чтѣ дѣлать? Куда идти? Для чего я живу?

Ничего я не понималъ и ясно сознавалъ только одно: надо поскорѣе укладываться. До посѣщенія старика мое лакейство имѣло еще смыслъ, теперь же оно было смѣшно и оскорбительно.

Повторяю, это — кульминаціонный пунктъ повѣсти, и въ концѣ концовъ все же ничего не сказано, и мы не постигаемъ, съ полною ясностью, психологическаго состоянія этого человека, въ душѣ котораго что-то переломилось, совершилось что-то безконечно значительное — то, чтѣ заставило его почувствовать себя совсемъ новымъ человекомъ. Написано много, а сказано мало, ибо въ этомъ написанномъ главное вниманіе обращено на мелочныя и ненужныя подробности.

Между тѣмъ, самая постановка дѣла освѣщаетъ его настолько что само-собою должно бы выступать главное.

Какъ созрѣла въ душѣ „неизвѣстнаго человека“ ненависть противъ старика Орлова, котораго онъ никогда не видалъ (ибо и столкнувшись съ нимъ онъ узнаетъ его лишь по фотографіямъ), съ которымъ не входилъ никогда ни въ какое общеніе, какъ созрѣла эта фантастическая ненависть, во имя которой на нашихъ глазахъ совершались дѣла мрачныя, фантастическія, кровавыя, поразившія своею непонятностью, свидѣтельствующія о томъ что „помутилось сердце человѣческое“, говоря словами Достоевскаго, — вотъ психологическій вопросъ, главный и основной вопросъ по отношенію къ нигилизму, вопросъ, который долженъ быть разрѣшенъ художникомъ въ изображеніи такого состоянія души человѣческой. Здѣсь узелъ всего дѣла, именно его надо развязать, и тогда все темное станетъ яснымъ, все тайное обнаружится, — тогда станетъ понятно самая сущность того душевнаго состоянія которое обозначаютъ словомъ нигилизмъ.

В.
Реш только
(Криво)

Вотъ этотъ-то узелъ въ повѣсти г. Чехова не развязанъ, а потому загадка остается загадкой. Мы можемъ проникать, какъ бы въ темной одгадкѣ весь смыслъ, но только въ художественномъ изображеніи онъ можетъ найти себѣ полное разрѣшеніе.

Мы можемъ смутно понимать что подобное душевное состояніе создается книжными мечтами, теоретическимъ раздраженіемъ сердца, оскуднѣніемъ любви въ этомъ „помутившемся“ сердцѣ, — оскуднѣніемъ любви, ведущимъ къ отрицанію самой жизни, ея правды и красоты. Вотъ основаніе подобнаго душевнаго состоянія у натуръ имѣющихъ въ себѣ зачатіе благородства и великодушія, но впавшихъ въ мрачное отъединеніе отъ жизни. Имѣя въ виду это основаніе, можно понять и смыслъ, и причины душевнаго перелома. Смыслъ его въ начинающемся смутномъ сознаніи что жизнь не исчерпывается нашими разсужденіями, что она шире и глубже всякой логики, что въ ней заключены таинственныя силы намъ невѣдомыя, что эти таинственныя силы дѣйствуютъ, невѣдомо для насъ, и въ нашей душѣ, — смутное сознаніе того что не человекъ избираетъ свои пути... Причины такого перелома — пробужденіе въ сердцѣ зачатковъ любви, а отсюда наступающее смутное сознаніе что человекъ самъ по себѣ имѣетъ какую-то абсолютную цѣну, а не есть только часть человечества, и поэтому не можетъ быть обращаемъ только въ средство для достиженія какихъ бы то ни было цѣлей.

Вотъ это-то сознаніе подавляетъ фантастическую ненависть — ненависть, свившую себѣ гнѣздо въ душѣ подъ

вліяніемъ книжныхъ мечтаній и теоретическаго раздраженія сердца.

Вотъ почему старикъ Орловъ въ роковую минуту представился „неизвѣстному человеку“ не какъ врагъ его дѣла, не какъ какая-то палка, мѣшающая ходу машины, и которую нужно сломать, а какъ человекъ, со всѣмъ человеческимъ что въ немъ есть, вотъ почему „неизвѣстный человекъ“ не убилъ старика Орлова, и не убивъ, тотчасъ же почувствовалъ что въ душѣ его раскрылось что-то новое, и когда онъ направилъ свѣтъ этого новаго на свое прошлое, то ему „стало жутко“, какъ будто бы онъ „нечаянно заглянулъ въ темный уголокъ“.

Что же это такое новое? Это новое было не новое, а *отъчужденное*, вѣчная, божественная сущаость человека, проступившая сквозь весь слой плотскаго и матеріальнаго — сквозь слой книжныхъ мечтаній, теоретическаго раздраженія сердца, фантастической ненависти...

Художественно воспроизведенная исторія нигилизма должна быть исторіей глубокаго *духовнаго* паденія человека, отъединившагося отъ жизни, — исторіей возрожденія души человеческой, истомившейся въ своемъ уединеніи и отъединеніи, словомъ, исторіей блуднаго сына расточившаго свои душевныя сокровища съ блудницами и ложными друзьями, и съ „обнищавшею“ душой снова возвращающагося въ отчий домъ...

Вотъ этой-то исторіи мы, къ сожалѣнію, не находимъ въ повѣсти г. Чехова, и его прекрасныя намѣренія остались только намѣреніями.

Ю. НИКОЛАЕВЪ.